

О ПРИЧИНАХ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В.Г. Хорос

Ключевые слова: Б.Н.Миронов, антропологический метод, динамика благосостояния населения, революция, модернизация, российская история.

Эта книга* — плод кропотливого десятилетнего труда, что уже само по себе вызывает уважение. Много в ней — и размер (66 печатных листов), и гигантская статистическая база, когда цифр немногим меньше, чем букв, и временной охват (более двух веков модернизационного процесса в России), и последовательно проведенный через всю фактографию широкий концептуальный замысел, и острота постановки проблем, и авторская сверхзадача (положить конец негативному восприятию образа России, убедить в том, что она вполне “смотрится” на фоне других европейских стран) — не может не производить впечатления, независимо от согласия или несогласия с теми или иными положениями автора. Книга уже вызывает горячие споры, и не только по частностям, но по ряду ключевых проблем российской истории и исторической науки в целом — о причинах, механизме и направленности революций, о роли элит и масс, о процессах модернизации, о характере исторической закономерности и т.п.

Мне уже приходилось писать о работах Б.Н.Миронова — о его капитальном двухтомном труде “Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства”. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999 [Хорос 2000]. Эта книга на фоне весьма грустной картины отечественного россиеведения 1990-х годов выделялась своей основательностью, щедрым охватом материала по модернизации в России XVIII — начала XX вв., вызывающей симпатию концептуальной направленностью — попыткой учесть как особенности России, так и общеевропейское русло ее эволюции, как бы встать над, условно говоря, славянофильской и западнической традицией. Привлекал также оптимизм автора, его тезис о сравнительной исторической “юности” российского общества и цивилизации, чем объяснялось определенное отставание от развитых стран, которое, по мысли Б.Н.Миронова, “в свое время” будет обязательно преодолено. Мне пришлось высказать и немало критических комментариев, которые, однако, не меняли общей позитивной оценки.

На этот раз Б.Н.Миронов идет гораздо дальше — от признания успешности модернизации в России к утверждению, что революции 1905-1917 гг. прервали этот успешный процесс и в общем-то (во всяком случае в плане материального благосостояния российского общества) не вытекали из характера и результатов развития России XVIII — начала XX вв. Книга открывается показательным историографическим введением, где констатируется, что в течение последних ста лет (и даже больше) сообщество историков в России и за

ХОРОС Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, руководитель Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН. Для связи с автором: khoros@imemo.ru

* Б.Н. Миронов. *Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века.* М.: Новый Хронограф, 2010. — 911 с.

рубежом, по крайней мере, их подавляющее большинство, считало, что революции в России начала XX в. были вызваны глубокими кризисными явлениями в жизни российского общества – как его верхов, так и, в большей степени, низов, обеднением и пауперизацией трудящихся. Б.Н.Миронов решительно выступает против этого, относя “парадигму кризиса и пауперизации” к идеологической мотивации и инерции интеллигентского мышления.

Если кратко, концепция автора выглядит следующим образом. При оценке уровня благосостояния населения используется так наз. антропометрический метод, который стал разрабатываться в западной науке примерно полвека назад. Данный метод исходит из того, что рост человека, его увеличение или уменьшение являются адекватными индикаторами изменений уровня жизни. Улучшается питание и жизненный комфорт человека – он прибавляет в росте, и наоборот. Антропометрические сведения берутся прежде всего по новобранцам, рост которых систематически измерялся; но если есть данные по другим категориям населения (рабочим, учащимся и пр.), они также привлекаются. Кроме этого, в книге Б.Н.Миронова учитываются и другие показатели, имеющие отношение к оценке уровня материального благосостояния населения, среди которого автор особо выделяет крестьянство, – урожайность, налоги, доходы и семейные бюджеты, цены, размеры повинностей крепостного периода (барщина и оброк) и пр.

Прослеживая эволюцию уровня жизни трудящегося населения (прежде всего крестьянства) в рассматриваемый период (1701-1915 гг.), автор выделяет в нем шесть этапов – три из них понижательные и три повышательные. В XVIII в., за исключением отрезка 1731-1750 гг., преобладала “негативная динамика благосостояния” (с. 261), отражавшаяся и на физическом росте населения. Б.Н.Миронов объясняет это рядом причин: повышением налогов и повинностей в контексте усиления крепостного гнета; ростом цен, включая хлебные; снижением урожайности из-за временного похолодания климата; наконец, войнами (петровскими и екатерининскими), забиравшими ресурсы трудового люда. Но с самого конца XVIII в. и далее ситуация стала улучшаться. Власть предпринимала меры по обеспечению интересов крестьянства, помещики также все больше практиковали патернализм по отношению к своим крепостным. Барщина поглощала лишь 17% годового рабочего времени крестьян, налоги и оброк были умеренными (с. 316, 340-341). Отмена крепостного права была осуществлена не из-за кризиса помещичьего или крестьянского хозяйства (его не было), а по гуманитарным, военным и политическим соображениям (с. 352).

Впрочем, улучшение жизни крестьянства в первой половине XIX в. лишь компенсировало предшествующий спад, и физический рост сельского населения только достиг уровня начала XVIII в., превзойдя его всего на 0,2 см. (с. 623). Но удачно проведенная серия реформ, в том числе и прежде всего крестьянская, открыла новый этап российской модернизации. “Только после вступления России в эпоху рыночной экономики после Великих реформ произошел прорыв в уровне благосостояния и биостатуса” (с. 353). Хотя и не сразу – десятилетие в середине века (1856-1865 гг.) дало некоторое понижение уровня жизни и физического роста в связи с издержками переходного времени. Зато затем последовал неуклонный рост почти вплоть до конца

Российской империи. За это время средний российский трудящийся подросток на 4,2 см — “прогресс очевидный, хотя и не феноменальный” (с. 623).

Так что если исходить из материальных оснований, у трудящихся масс в царской России не было причин для серьезного недовольства. Откуда же три революции начала XX в.? Отчасти, по мысли автора, их можно считать результатом самого экономического, социального и политического прогресса — роста самосознания трудящихся и становления гражданского общества. Сыграли свою роль и военные поражения, русско-японская и особенно Первая мировая войны, дезорганизовавшие хозяйство и общественно-политическое устройство страны. Но главная или “непосредственная причина революции 1905 г. (и февраля 1917 г. — В.Х.) заключалась в борьбе за власть между разными группами элит: контрэлита в лице лидеров либерально-радикальной общественности хотела сама руководить модернизационным процессом... и на революционной волне отнять власть у старой элиты — романовской династии и консервативной бюрократии” (с. 664). Либерально-радикальные деятели проводили одна за другой мощные “PR-кампании”, в которых муслировалась “парадигма кризиса и обнищания” трудового населения России — в печати, научной литературе, на митингах и т.д. Ведь “пропагандировать программу реформ и добиваться ее реализации всегда максимально удобно в условиях кризиса, *независимо от того, реальный он или воображаемый* (курсив мой — В.Х.)... По политическим соображениям либерально-демократическая общественность всячески педалировала проблему обеднения крестьянства и упадка сельского хозяйства” (с. 592). В общем, оппозиция энергично “раскачивала лодку” и в конце концов раскочаила ее.

Власть же отказывалась уступать этому давлению. Вообще, правительство в России “за немногими исключениями... проявляло крайнюю осторожность, реформируя только то, что нельзя было не изменить, откладывая некоторые реформы, до которых огромное большинство населения еще не доросло... Напротив, образованное общество стремилось к немедленным радикальным реформам, как минимум аналогичным тем, которые проводились на Западе, проявляя при этом нетерпение. Гиперосторожное государство и супернетерпеливая интеллигенция не находили взаимопонимания...” (с. 691-692).

Кончилось все коллапсом 1917 г. и последующими годами военной и гражданской смуты. Между тем в том же 1917 г. требовалось всего “шесть, максимум десять месяцев терпения, и Россия оказалась бы в числе стран-победительниц, а победа в войне предотвратила бы революцию и Гражданскую войну” (с. 667). В этом случае успешное продолжение модернизации России было бы обеспечено, ибо после Великих реформ во всех областях общественной жизни — экономической, социальной, политической и культурной — Россия в общем и целом развивалась по европейским образцам и меркам. Но история сложилась иначе...

Такова, конечно, в очень кратком изложении, концепция Б.Н.Миронова. Она базируется на двух родах аргументов. Первый составляют экономико-статистические данные, второй — социологические и политологические соображения. В этом порядке я и буду их рассматривать.

Сразу оговорюсь: я не экономист и не статистик, и дать квалифицированный комментарий расчетам Б.Н.Миронова я не смогу. Впрочем, мне труд-

но представить себе даже профессионала, который взялся бы пересчитать весь гигантский статистический материал по тем позициям, которые даны в книге Б.Н.Миронова. Более того, я готов согласиться с ним в общем и целом: негативные оценки уровня жизни дореволюционного российского населения и его снижающейся динамики, действительно, имевшие хождение в дореволюционной, советской и в значительной мере западной историографии, содержали определенный перебор, излишнюю драматизацию исторической реальности. Но это не значит, что мне совсем нечего сказать по поводу картины “Россия в цифрах”, представленной в книге. Эта картина, на мой взгляд, содержит некоторые изъяны.

Прежде всего, об антропометрическом методе. Не отвергая его полезности, все же представляется, что в трактовке автора он приобретает характер какой-то жесткой детерминации и автоматизма: грамотные выше неграмотных, представители верхних социальных категорий превосходят по росту социальные низы, “прибавка” в уровне жизни дает повышение физического роста, ухудшение благосостояния — понижение, причем практически сразу и непосредственно. В связи с этим некоторые данные и их объяснение в книге вызывают сомнение.

Например, выдвигая тезис, что по биостатусу “Россия развивалась согласованно с другими европейскими странами”, автор отмечает, что россияне конца XIX в. (рабочие и крестьяне) в среднем были выше поляков, испанцев, итальянцев, португальцев, венгров, французов. Что отсюда следует — что российские трудящиеся жили лучше, чем французские?

Применительно к XVIII в. войны (петровские и екатерининские) называются одной из причин, способствовавшей понижению биостатуса трудового населения. Однако, рост новобранцев в период войны с Наполеоном (1812-1815 гг.) повысился (164,6 см) по сравнению с 1806-1810 гг. (163,9 см) (с. 273). В 1914-1917 гг. средний рост мужского населения в России уменьшился на 0,7 см, а вес на 1,3 кг, что, по замечанию Б.Н.Миронова, не так чувствительно, как в петровские или екатерининские времена, поскольку “бедствия не достигли еще масштабов Северной (1700-1721 гг.), Русско-турецкой (1764-1768 гг.) или Крымской войн (1853-1855 гг.)” (с. 638). Вряд ли это так, ибо бедствия времен Первой мировой войны были таковы, что привели к развалу страны.

Говорится о том, что реальная заработная плата рабочих Санкт-Петербурга в первой половине XIX в. повышалась, а в течение последующих 30 лет понижалась, но при этом их физический рост не пострадал, даже наоборот. Почему же антропометрические данные рабочих улучшались при понижении реальной заработной платы? Б.Н.Миронов считает, что рабочие получали “добавки” от родственников из деревни, благосостояние которой в это время росло (с. 512, 527) — объяснение не слишком убедительное, ибо основано на чистом предположении.

Как бы подтверждая свой тезис о влиянии социального статуса на антропометрические данные, автор указывает, что в середине XIX в., т.е. в пору расцвета сословной системы, разница в росте между привилегированными и непривилегированными сословиями составляла 5,5 см. Между кем конкретно? Оказывается, между духовенством (170,6 см) и крестьянами (165,1 см). У дворян же и чиновников — 166,1 см., т.е. разница всего 1 см. Далее, правда, при-

водятся другие данные, согласно которым дворянские дети в 10-14 лет превосходили своих сверстников из крестьян на 1,8-2,7 см, детей из рабочих на 1,8-2,6 см, а детей мещан аж на 7,2-7,5 см. (с. 625). Но этот обсчет охватывает лишь 1706 учащихся Пермской и Вятской губерний в 1879-1881 гг. Вряд ли такая база данных может считаться репрезентативной.

Некоторые другие моменты в статистических выкладках и расчетах Б.Н.Миронова также вызывают вопросы. Речь идет о постоянно проявляющемся стремлении автора показать, в отличие от известной поэмы Н.А.Некрасова, что крестьянам на Руси, да и в целом трудовому люду жилось неплохо. Опирируется он в основном средними данными доходов. Конечно, средние показатели полезны, но не менее важны сведения о социальной дифференциации, иначе средние цифры могут затемнять реальную картину. Социальное или имущественное неравенство в дореволюционной России Б.Н.Миронов, конечно, признает. Но в категорию беднейших слоев почему-то выделяются лишь рабочие и прислуга (10,9% населения) (с. 655). Что же касается крестьянства, то автор исходит из того, что оно в России вплоть до 1917 г. во многом оставалось традиционным, т.е. социально и имущественно слабо расчлененным. Между тем по социальной дифференциации пореформенной деревни еще в дореволюционные времена было немало работ, прежде всего земская статистика, которой автор, на мой взгляд, недостаточно пользуется. Согласно земским обследованиям, доля бедного крестьянства в России была как минимум порядка одной трети, причем эта доля имела тенденцию расти. А треть — это немало, это может быть уже достаточно серьезным очагом недовольства¹.

Статистические данные, прямо показывающие повышение уровня жизни сельского населения, также оставляют желать лучшего. Например, годовые доходы крестьян в 1873-1901 гг. определены лишь по 1787 семейным бюджетам (с. 665). Но и некоторые косвенные аргументы, призванные подтвердить такое повышение, вызывают сомнения. Так, признаками роста крестьянского достатка называются увеличение количества праздников и потребления алкоголя (водки и пива). “Где же крестьяне брали средства для веселого времяпровождения, если они стали меньше работать, но при этом лучше питались, одевались и больше пили водки? Ответ может быть только один: у крестьян повысилось благосостояние” (с. 559). Думается все же, что ответ здесь вряд ли “может быть только один”: из повседневного опыта, а особенно у нас в России, хорошо известно, что больше празднуют и “пьют горькую” не только по причине довольства и роста жизненных благ.

Или, скажем, тот факт, что в 1861-1900 гг. количество выдаваемых крестьянам паспортов увеличилось (с 13,9 до 53,1 на тысячу человек населения), по мнению Б.Н.Миронова, “безусловно, свидетельствовал о существенном росте дохода крестьян от промысловой деятельности, который компенсировал уменьшение дохода от земельных наделов...” (с. 598). По-моему, “безусловно” лишь то, что крестьянам надо было восполнить отхожими приработками падающие доходы от сельского труда, а приносила ли эта компенсация

¹ В более ранних работах Б.Н.Миронов признавал проблемы бедного крестьянства, в частности, недостаточность рациона его питания [см. Миронов 2002: 37]. Но затем он изменил свою точку зрения.

“существенный рост” — это надо еще доказать. Скорее всего, вряд ли приносила, иначе “отходников” было бы не пятьдесят с небольшим на тысячу, а все двести или триста.

Росту благосостояния трудового люда в России, по мнению Б.Н.Миронова, способствовало уменьшение налогового бремени в пореформенный период, вообще — умеренность налогов, которые были “ниже, чем в большинстве развитых стран” (с. 328, 329, 632). Не уверен в правильности такой оценки. В частности, американский историк Теодор фон Лауе, анализировавший успешное экономическое развитие России в “эпоху Витте” (конец XIX — начало XX вв.), убедительно показал, что ощутимый рост налогов, включая знаменитую винную монополию, введенную в 1894 г., давал одну из важных статей бюджетных инвестиций. Были существенно увеличены косвенные налоги — акцизы на предметы первой необходимости (соль, табак, сахар, спички, керосин и пр.). При Витте пропорция косвенных налогов по отношению к прямым была втрое выше, чем в Германии, и вдвое — чем во Франции, и это свидетельствовало о степени тяжести налогообложения, чувствительного прежде всего для широких слоев населения. Прямые налоги также были увеличены. В целом за период 1983-1902 гг. налоговое бремя выросло почти наполовину, тогда как население — на 13% [Von Laue 1963: 280].

Если вернуться к теме социальной дифференциации в дореволюционной России, то в книге проводится идея, что разница в уровне жизни не только внутри крестьянства, но и между привилегированными и непривилегированными слоями была сравнительно невелика. В качестве иллюстрации сообщается, например, что питание и содержание в кадетских школах, Смольном или Екатерининском женских институтах, т.е. элитарных учебных заведениях, были весьма скромными. Не думаю, что этот факт может быть показательным для оценки доходов привилегированных слоев.

Далее дается децильный коэффициент (т.е. соотношение доходов высших и низших 10% населения) в России начала XX в., высчитанный по данным налогообложения, что представляется не вполне достаточным. В одном месте книги этот коэффициент определяется около 6:1 (с. 659), в другом — в пределах 3,7-7,8:1, причем отмечается, что “даже максимально возможная его величина не была социально опасной” (с. 657), т.е. не провоцировала революции. Для сравнения сообщается, что в Великобритании конца XIX в. децильный коэффициент составлял 309:1 (с. 659), — цифра, которая, по-моему, выглядит недостоверной и фантастической. Да и зачем было приводить ее для подчеркивания “социально неопасного” уровня неравенства в России, если даже при таком разрыве между богатыми и бедными в Великобритании не было и тени намека на революцию?

В общем, создается впечатление, что борясь с одной крайностью — превеличением кризисных процессов эволюции имперской России, Б.Н.Миронов впал в другую — недооценку проблем и трудностей российской модернизации. Так порой бывает, когда в процессе работы автору приходит масштабная и заманчивая идея, и, увлекаясь ею, он теряет чувство меры, стремится подтвердить ее всевозможными аргументами *pro*, игнорируя или недооценивая аргументы *contra*. Возникает то, что французы называют *embarrass de richness* (буквально “избыток богатства”, а в данном случае

“излишние доказательства”), и именно это выдает авторскую односторонность, недостаток объективности подхода. Конечно, как говорится, объективным может быть лишь Господь Бог, но и простому ученому не заказано елико возможно приближаться к этому идеалу.

Перейдем теперь к социологическим и политологическим аргументам в книге. В чем, помимо каких-то статистических выкладок, проявляется заметная односторонность авторской концепции? Например, в оценке экономической политики монархической власти. Б.Н.Миронов считает эту политику — особенно в XIX — начале XX вв. — практически оптимальной. Еще до реформы, по его словам, государство принялось осуществлять “попечительство” над удельными и казенными крестьянами — идут ссылки на реформу П.Д.Киселева, проведение мелиоративных работ, издание “Земледельческой газеты” (с. 343-344) (хороший пример *embarrass de richess*: “Земледельческая газета” — для неграмотных или малограмотных крестьян?). Подчеркивается, что крестьяне любили и почитали царя — например, сельский житель Бобков, оставивший после себя мемуары, вспоминает, как он плакал, узнав о смерти Николая I. Лояльность к власти и признание ее легитимности “косвенно свидетельствует о том, что положение крестьян, по крайней мере, с их точки зрения, было удовлетворительным” (с. 547, 548). Ну что ж, пиетет к “царю-батюшке” в массе своей у российских крестьян, действительно, был. Но, во-первых, в конце XIX — начале XX вв. он стал быстро таять. Во-вторых, как свидетельствует историческая практика, и не только в России, лояльность к управителям отнюдь не всегда связана с материальным благополучием управляемых.

И со второй половины XIX в., по мнению автора, экономическая политика власти продолжала оставаться эффективной. В книге нет ни одного критического соображения в адрес крестьянской реформы 1861 г., хотя об этом написаны десятки и сотни книг и статей. Автор признает проблему малоземелья (с. 668), которая была следствием реформы 1861 г., так наз. отрезков от крестьянских участков в пользу помещиков. Но затем говорится, что эта потеря не имела принципиального значения: как показала обратная “прирезка” помещичьих земель крестьянам в 1917 г. плюс освобождение их от долгов и налогов, это дало увеличение крестьянских доходов лишь на 20%, что “не могло решить проблему бедности в долгосрочной перспективе” (с. 660-661), — как будто крестьяне, борясь за землю, высчитывали “долгосрочную перспективу”. Точно так же Б.Н.Миронов признает, что по выкупным платежам крестьяне “переплатили” за свою землю (выше тогдашних рыночных цен), но тут же следует оговорка, что впоследствии цена на землю повышалась (с. 320-321). Эти оговорки, как представляется, не вполне убедительные (например, какое значение имел для крестьян последующий рост цен на землю, если они уже с самого начала выкупали ее по завышенной — а для них просто высокой — цене, а продавать землю в своем большинстве не собирались), призваны отвести всякие сомнения в безусловной эффективности “Манифеста 19 февраля”, учитывавшего “интересы не только помещиков, но и крестьян” (с. 342).

Более того, по мнению Б.Н.Миронова, только власть в дореволюционной России была заинтересована в объективной, беспристрастной оценке положения дел в стране. Так, “получение объективной картины состояния дерев-

ни беспокоило в основном правительственные круги” – в отличие от “общественности” – интеллигенции, земства, оппозиции, ученых и публицистов, которые были заняты главным образом политическими проблемами – “участием во власти и рациональным разделением государственного финансового пирога”, а “вопрос о соответствии ее представлений о крестьянстве объективным данным мало ее тревожил” (с. 593). Поэтому автор охотно ссылается на мнения официальных лиц – крупного чиновника Министерства государственных имуществ А.С.Ермолова (с. 673), начальника канцелярии министра двора А.А.Мосолова (с. 664), издателя консервативной газеты “Гражданин” князя В.П.Мещерского (с. 599) и др., дававших уничижительные характеристики идеям и действиям “либерально-радикальных” кругов.

Что сказать по этому поводу? Вообще-то в истории случаи, когда какая-либо власть занимала объективную и беспристрастную позицию и вела соответствующую политику, крайне редки. Объективность – это скорее удел ученых, и то далеко не всех. Не являлась исключением и большая часть администраторов и чиновников в дореволюционной России. На этот счет есть немало выразительных свидетельств в научной, исторической и художественной литературе нашего Отечества. Сошлюсь хоть на С.Ю.Витте. Он тоже был крупным чиновником, но гордился тем, что дошел до больших должностей без всякой протекции, пройдя самостоятельно длинную служебную лестницу. Сергей Юльевич весьма скептически относился ко многим представителям российской бюрократии. Чего стоит, скажем, его иронический отзыв о министре земледелия М.Н.Островском и его заместителе В.И.Вешнякове: они “никогда не видели полей, а... только поля своих шляп”. По его наблюдениям, среди чиновников того времени (конца XIX – начала XX вв.) преобладали люди типа “чего изволите?”, которые только на словах были за царя и Отечество, а “в сущности за свое пузо, за свой карман и за свою карьеру” [Витте 1960: 310, 312, 359].

Стремление везде усматривать позитив в действиях власти порой приводит Б.Н.Миронова к противоречиям. Так, положительно оценивая Манифест Николая II об отмене круговой поруки с сохранением общинного строя, он пишет: “Правительство оказалось консервативнее земцев и землевладельцев. Но, как это ни парадоксально, оно приняло во внимание мнение самого русского крестьянства, которое в преобладающем большинстве поддерживало общину и не доверяло земствам” (с. 594). Вместе с тем в книге дается высокая оценка аграрной реформе П.А.Столыпина, направленной как раз против общины и потому не принятой основной массой крестьянства, которое, действительно, “в преобладающем большинстве поддерживало общину”.

В отличие от власти, занятой конструктивной деятельностью по модернизации страны, “либерально-радикальная общественность”, по мнению автора, была настроена сугубо критически. Она встречала в штыки установки и мероприятия монархической администрации, считала ее неспособной вывести страну из провозглашаемого оппозицией системного кризиса – политического, социального, экономического, одним из главных проявлений которого была аграрная проблема, инволюция русского крестьянства. “Парадигма кризиса и обнищания” настолько утвердилась в сознании либерально-радикальной интеллигенции, что “все, что ей противоречило, просто не воспринималось” (с. 672), а немногие голоса, предлагавшие более реал-

листично оценить положение в стране и политику власти, встречали дружную обструкцию.

Либерально-радикальная оппозиция, говорится в книге, действовала методом постоянных “PR-кампаний”. Б.Н.Миронов многократно употребляет этот термин, пришедший в наши отечественные пенаты совсем недавно. Само по себе выражение “*public relations*”, конечно, нейтрально, но сегодня оно приобрело оттенок некоего пропагандистского или рекламного надувательства, способности разных имиджмейкеров и политтехнологов повесить любую лапшу на уши массовой аудитории. Этот ли смысл придает автор в оценке деятельности дореволюционной российской либерально-радикальной интеллигенции? Вроде бы нет. Он, например, считает, что большинство критиков самодержавия “искренно верило в кризис” (с. 600), что имела место не “фальсификация данных”, а “идеологическая аберрация” (с. 672). Но в книге есть и другие формулировки: оппозиция “создала в стране атмосферу экономического и политического кризиса” (с. 637), хотя кризиса как такового не было. “Виртуальные факты”, конструирование ‘искусственной действительности’ стали частью русской общественной жизни” (с. 673). “Кризисный, упадочный имидж России создавался кадетской, эсеровской и социал-демократической партиями намеренно, в борьбе за власть, с целью дискредитации своих политических противников” (с. 672). “Намеренно” — т.е., по сути, зная, что на самом деле кризиса и упадка нет, но используя этот “имидж” как средство политической борьбы. Такие формулировки вполне оправдывают использование термина “пиар”.

Конечно, в общественном мнении всегда в той или иной мере имеет место идеологическая аберрация или инерция, проявления некритического восприятия “ходовых” идей, приобретающих влияние. Но спросим себя: неужели вся либеральная и демократическая мысль в России была предвзятой и необъективной? Что она выдумывала проблемы, которых не было? Что ее представители — от А.И.Герцена, Н.В.Шелгунова, Н.К.Михайловского, М.М.Стасюлевича до Н.Ф.Анненского, А.В.Пешехонова и многих-многих других — прибегали к специальному нагнетанию негативной общественной атмосферы как средству борьбы за власть? Что у них не было никаких оснований, чтобы бить тревогу или критиковать те или иные мероприятия власти? Что целые идейные направления возникали вокруг непонятно каких проблем и существовали неизвестно зачем?

Например, “народнические описания деревни” устами некоего “крупного экономиста Н.П.Макарова” объявляются “ошибочными”, не соответствующими действительности (с. 673). В свое время мне пришлось много заниматься народничеством, у которого, конечно же, были свои иллюзии и заблуждения. Но оно сигнализировало и о реальных проблемах, реальных бедах российского крестьянства. Более того, известный польский историк А.Валицкий правомерно отмечал, что идеи российского народничества, особенно экономические, явились “первой идеологической рефлексией относительно специфических черт экономического и социального развития отсталых аграрных стран, поздно вовлеченных в процесс модернизации в условиях сосуществования с высокоиндустриальными нациями” [Walicki 1969: 129]. Народники защищали интересы крестьянства от последствий “первоначального накопления” и в этом качестве стали одними из видных предста-

вителей широко распространенного в свое время во многих странах популизма [подробнее см. Khoros 1984].

А художественная литература? Сгустил ли краски крепостных нравов И.С.Тургенев в “Записках охотника”? А А.П.Чехов — писатель, совсем далекий от политики, не принадлежавший ни к каким партиям или направлениям? Но достаточно почитать его “Мужиков” или “В овраге”, чтобы ощутить признаки неблагополучия в российской деревне, в российской жизни вообще во времена, недалекие от революционных потрясений начала XX в. То же самое можно сказать о любом крупном писателе той поры — В.Г.Короленко, А.М.Горьком, Л.Н.Толстом, И.А.Бунине, А.А.Блоке и т.д. Причем речь шла не столько о нехватках материального характера, сколько о других общественных настроениях — грубости человеческих отношений, разрушении моральных норм, кризисе привычных ценностей, потере жизненной перспективы и т.п.² Можно ли это списать на перманентную интеллигентскую оппозицию власти или стремление любой ценой скинуть ее?

Кстати, о борьбе за власть и причинах ее возникновения. Б.Н.Миронов считает, что “политическое развитие страны после Великих реформ было не менее успешным, чем экономическое... Был создан механизм принятия политических решений, в котором участвовали представители общества” (с. 663). Имеется в виду “Манифест 17 октября 1905 г.” и последующая деятельность Государственной Думы. Я уже оспаривал это мнение Б.Н.Миронова вopusе о его предшествующей книге, но приходится повториться. Дело в том, что парламентаризм в России был достаточно ограниченным. С самого начала Николай II и его окружение допускали для Думы лишь “законосовещательные” функции — “для предварительной обработки и обсуждения законодательных предположений”. Именно это было четко заявлено царем в рескрипте министру внутренних дел А.Н.Булыгину в феврале 1905 г. Над Думой был поставлен Государственный Совет, который мог отвергнуть любые законопроекты, предложенные Думой; эти законопроекты затем уходили на доработку к министрам, ответственным лишь перед императором. Были и другие ограничения — Дума не могла рассматривать отчеты Государственного банка, дела военного и морского министерств, вопросы внешней политики и т.д. Правда, позднее в результате испуга после всеобщей политической стачки в “Манифесте 17 октября 1905 г.” были обещаны полноценные функции российского парламента. Но после того, как первые волны революции были подавлены, власть вернулась к конструкции “булыгинской Думы”.

Депутаты первой Думы, естественно, стали настаивать на выполнении обязательств, данных в “Манифесте 17 октября”, но встретили жесткое противодействие. Работа первой Государственной Думы была, по существу, блокирована, за время ее деятельности не удалось принять ни одного законопроекта, а через три месяца — вместо положенных пяти лет — парламент без всяких на то оснований был распущен. Такое начало не могло не наложить отпечаток на последующую деятельность Государственной Думы, породив ее конфронтацию с монархической властью. И здесь имело место не только “нетерпение”

² На что, в частности, в полемике с концепцией Б.Н.Миронова справедливо указывал Л.Е.Гринин [О причинах... 2010: 204-205].

оппозиции, но и стойкое упрямство монархии, и трудно сказать, чего было больше. Во всяком случае, борьбу оппозиции вряд ли можно объяснить лишь ее амбициозным властолюбием, но вполне логичными политическими целями — получить те права, которые были обещаны и исторически уже давно созрели.

Б.Н.Миронов полагает, что на российской политической сцене все решалось борьбой элит и контрэлит, прямо ссылаясь на родоначальника теорий элит Вильфредо Парето (с. 666). Я далек от того, чтобы отрицать роль элит в политической жизни и полезность изучения их соперничества в борьбе за власть. Но ведь эту борьбу они ведут, привлекая к своей поддержке массы, классы, и тем самым так или иначе выражают их интересы, превращают их, используя известное выражение, из класса “в себе” в класс “для себя”. Если элиты правильно выражают эти интересы, массы идут за ними, если же нет, следует их политическое фиаско. Рассматривать элиты вне связи с массами и их интересами все равно что изучать дым без огня. Но тогда надо спросить: были ли в дореволюционной России “огонь” (т.е. интересы самих масс и проявления этих интересов), и если да, то какой?

Даже если исходить из самой книги Б.Н.Миронова, то, разумеется, был. Указывается, например, что власти пошли на отмену крепостного права в том числе из-за “боязни волнений” (с. 352). Значит, основания для такой боязни были — власть не стала бы пугаться фантома. Констатируется также, что “крестьяне заявляли о непосильности выкупных платежей и отказывались платить налоги” и тем самым “убедили образованное общество и правительство, что их положение невыносимо и добились понижения платежей” (с. 334), — хотя автор склонен считать и выкупные платежи, и налоги в России второй половины XIX в. не слишком обременительными. А чего стоят массовые волнения крестьянства в 1902 г. и в последующие годы! Вот он, “огонь”, от которого шел “дым” элит. И “дым” этот был не просто “пиаром” и пропагандистским нагнетанием (хотя они, наверное, также имели место), но выражением реальных проблем российского общества.

К сожалению, в освещении оппозиционных российских “контрэлит” в рассматриваемом труде чувствуется стремление автора в каких-то моментах дискредитировать их. Они, как сообщается в книге, не только создавали ложную, “виртуальную” картину отечественной действительности, но и прибегали к услугам иностранных агентов. Так, через финского сепаратиста К.Циллиакуса японская разведка финансировала конференцию Союза освобождения в 1904 г. в Париже. Японцы же платили за закупки оружия для революционеров и издание социал-демократической газеты “Вперед”. В 1917 г. подрывная работа в рабочей среде и в казармах петроградского гарнизона велась “предположительно либо Министерством иностранных дел Германии через большевиков, либо российской полицией” (с. 637, 665). “Октябрьский переворот” также “в значительной мере” питался “иностранными деньгами” (с. 667). Но и сами радикальные российские деятели обнаруживали готовность не брезговать никакими средствами в борьбе за власть — перед Февральской революцией предприятия намеренно закрывались, чтобы спровоцировать рабочих на забастовки, а бастующие получали вознаграждение. Солдатам, вступившим в “военную организацию”, отпускались из специального “революционного фонда” значительные суммы денег. “Намеренно (опять намеренно! — В.Х.) допускались про-

счеты в деле снабжения Петрограда продовольствием с целью... вызвать на этой почве недовольство широких масс населения” (с. 637, 665, 639).

В постсоветские годы в нашей исторической среде — да и в общественном мнении в целом — возникла “парадигма” (или миф) о “России, которую мы потеряли” и о безответственных революционерах, всеми правдами и неправдами захвативших власть, не гнушавшихся ради этого никакими средствами (в том числе иностранными деньгами), повернувших колесо истории назад и ввергнувших свое Отечество в хаос гражданской войны. Не случайно многие материалы, негативно характеризующие оппозиционную деятельность в России, взяты Б.Н.Мироновым из постсоветских изысканий, в которых их авторы наперебой стремились отыскать компромат на тех, кто принимал участие в революционной деятельности (и наоборот, оттенить всевозможные достоинства в деятельности власти и лично монарха, “великого мученика”). Элементы этого “черно-белого” подхода, перемены плюсов на минусы и наоборот, к сожалению, попали в большую серьезную работу Б.Н.Миронова.

А в итоге — и это главное — пропадают объективные факторы и закономерности революции³, которая сводится к некоему действию сверху, чему-то вроде путча, простой манипуляции низами при помощи “PR-кампаний”. “...Революции начала XX в., — пишет автор, — мало отличались от произошедших в начале XXI в. на постсоветском пространстве так наз. ‘бархатных’, ‘оранжевых’, ‘розовых’, ‘сиреневых’ и им подобных революций” (с. 692).

Опять хочется прибегнуть к французскому выражению — *c'est trop* (это слишком). Ибо на самом деле издано немало серьезных исторических трудов — и у нас, и за рубежом, — свидетельствующих о *массовом* характере обеих революций 1917 г., об их “народном” качестве (что вовсе не исключает каких-то организационных усилий лидеров). Не буду апеллировать к этим трудам, а просто приведу свидетельство такого вдумчивого и серьезного наблюдателя событий того времени, как М.М.Пришвин. В октябре 1917 г. он (кстати, относившийся тогда весьма критически к большевикам) писал в своем дневнике “о непонимании большевистского нашествия, которое... все еще считают делом Ленина и Троцкого”, но “не понимают, что вожди тут не при чем и нашествие это не социалистов, а первого авангарда армии за миром и хлебом, что это движение стихийное... что это движение началось с первых дней революции и победа большевиков была уже тогда predetermined” [Пришвин 1991: 386]. В этой картинке очевидца все на месте: и “дым”, и “огонь”, без которого “дыма” не бывает.

Хотя в работе делается акцент на субъективных факторах революции (“PR-кампании” и пр.), автор, как мне кажется, понимает, что надо бы указать на более фундаментальные причины революции в России. Выше уже отмечалось, что в книге говорится о роли военных поражений и негативных последствиях тягот войны. Но кто втянул страну в эти совершенно ненужные и рискованные с точки зрения национальных интересов войны — крестьяне? рабочие? оппозиционная интеллигенция? И можно ли было мобилизовать в роковом 1917 г. измученное общество на наступление “до полной победы”?

³ М.А.Давыдов, в целом разделяющий концепцию Б.Н.Миронова, прямо называет революции 1917 г. “трагической случайностью” [О причинах... 2010: 272].

Б.Н.Миронов считает, что революция в России может быть объяснена в рамках теории модернизации (с. 674). Очень хорошо. Но в таком случае вряд ли имеет смысл выдвигать на первый план отрицание “обнищания” и падения материального благосостояния трудящегося населения как снимающее проблему серьезных предпосылок для революции. Еще раз: оспаривая чрезмерную драматизацию проблем дореволюционного российского общества и “неуклонного снижения” жизненного уровня масс, Б.Н.Миронов прав. Но разве революции — настоящие, не “бархатные” или “оранжевые” — вызываются только материальными причинами, да еще в самой крайней форме? Можно ли объяснить, скажем, Великую Французскую революцию тем, что две трети страны еле волочили ноги от голода, а Вольтер и Руссо “раскачали лодку”?

Обратимся к такому авторитетному автору, как Сэмюэл Хантингтон. В одной из своих ранних, но весьма серьезных работ, ставшей по сути классикой по проблемам модернизации, С.Хантингтон убедительно показал, что процесс модернизации, даже успешный, сопровождается растущей конфликтностью в обществе; более того, есть “прямая связь (*apparent association*) между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью” [Huntington 1968: 51]. Экономический, социальный или политический прогресс, означающие успехи модернизации, в то же время оборачиваются различного рода диспропорциями — между городом и деревней, растущей индустрией и отстающим сельским хозяйством, традиционным и современным менталитетом, противоречиями между различными группами элит в контексте складывающегося политического плюрализма и т.п.

Все это в той или иной мере имело место и в пореформенной России, где процесс модернизации во многих отношениях, действительно, шел достаточно успешно. Собственно, и сам Б.Н.Миронов, — когда отвлекается от опровержений “парадигмы кризиса и обнищания”, — признает, что именно достижения модернизации в России открывали дорогу протестным настроениям. В стране формировалось гражданское общество, возникали различные идейные и политические движения, стремящиеся все более активно корректировать действия власти, вмешиваться в них, и даже в простых людях “росло чувство личности и самоуважения” (с. 671). “Хотя уровень жизни большинства общества в абсолютном смысле повышался, потребности и запросы росли еще быстрее, что и служило фактором растущего недовольства широких масс населения в пореформенное время” (с. 670). Фактором недовольства, переросшего в фактор революции.

Разумеется, дело не только в несоответствии возможностей и потребностей. Существовали и другие, вполне реальные (“объективные”) проблемы в пореформенном российском обществе — крестьянское малоземелье, растущая социальная дифференциация как в городе, так и в деревне, минусы общинного землевладения, избыточная миграция из деревни в город и трудные условия жизни фабричного люда, ощутимое налоговое бремя, неэффективность правительственной бюрократии и ее политический консерватизм. О военных провалах мы уже говорили. Скажу еще об одной проблеме, порожденной российской модернизацией, — феномене социокультурного люмпенства. Имеются в виду не просто деклассированные элементы, маргиналы в социальном смысле, но и “лишенные культурных корней”, т.е. отпавшие от преж-

них, традиционных жизненных основ, но не включенные в иную, современную систему связей и ценностей, еще не вполне сложившуюся. Такие элементы могут появляться во всех слоях общества, не только в низших.

Процессы люмпенизации в той или иной степени имели место во многих модернизовавшихся обществах. В России по ряду причин этот процесс принял значительные масштабы. В книге Б.Н.Миронова об этом есть упоминание, но почему-то лишь применительно к дворянству, “деклассирование” которого “под влиянием реформ... ускорило” (с. 651). Но в предыдущей его фундаментальной работе “Социальная история России” есть очень показательная цифра: так наз. аграрное перенаселение, избыток рабочей силы в сельском населении Центральной России Б.Н.Миронов оценивал на конец XIX в. в 23 млн. человек, или больше половины (!) от общего числа работников [Миронов 1999: 474]. Отсюда и выходили не только деревенские бедняки и отходники, но и слой “раскрестьяненных” маргиналов, людей, болтающихся между городом и деревней.

Этот слой еще в 80-х годах XIX в. заметил Г.И.Успенский и в своих знаменитых очерках “Власть земли” метко окрестил “сердитым нищенством”, грозящим в будущем, как он считал, большими бедами. Этот слой либо стагнировал на месте, либо выталкивался в город, где далеко не все мигранты имели шанс “вывариться в фабричном котле”. Так появились “босяки” и “люди на дне”, столь красочно описанные А.М.Горьким. Очень быстро данный феномен стал осознаваться как общественная угроза (“грядущий хам” Д.С.Мережковского), поскольку люмпенский контингент демонстрировал сочетание агрессивности и антисоциального поведения со способностью быть объектом манипуляции со стороны тех или иных политических сил. Данный слой по мере усиления общественных неурядиц и катаклизмов начала века обнаруживал тенденцию к росту и сыграл немалую роль в событиях 1905 и особенно 1917 гг. [подробнее см. Хорос 1996: 101-117].

Отсюда, конечно, не следует, что революции начала XX в. в России были “люмпенскими”. Нет, в них сошлись “грудь в грудь” основные классы общества, защищая свои цели и интересы, а люмпенский контингент привносил “горючий материал”, причем по обе стороны баррикад. Здесь действовали как вполне конкретные лозунги времени (борьба крестьян за землю, требование прекращения войны, ориентация на демократизацию власти), так и глубокие, иррациональные мотивы, и именно последние, возможно, придали революциям 1917 г. такой размах. В них выплеснулся веками дремавший, но порой прорывавшийся протест низов против крепостного угнетения, зависимости от власти, “белой кости”, “сильных людей”, “богатеев” и т.д. — протест и ожесточение, так грозно разлившееся по стране и переросшие в длительную гражданскую войну, инерция которой, как представляется, сотрясала общество и в двадцатые годы (НЭП, коллективизация), и в периоды так наз. репрессий.

Видимо, сегодня не срабатывает или требует серьезной коррекции концепция российских революций начала XX в. на основе категорий формационной теории. Вполне возможно, что удовлетворительное объяснение может быть получено в рамках теории модернизации, хотя здесь, на мой взгляд, необходимы дополнительные размышления и интерпретация исторического материала, учитывая большую специфику *Russian case* (взять хотя бы дли-

тельность модернизационных катаклизмов в России и их всемирно-исторические последствия). Не исключаю и полезности цивилизационного подхода — рассмотрение революционных процессов в России как следующего цикла внутрицивилизационных “смут” — после смуты начала XVII в., которая отнюдь не ограничивалась 1605-1612 гг., но так или иначе продолжалась весь “бунташный век”. Но оставим это будущим исследованиям.

Попробую подвести краткие итоги. Несмотря на все свои сомнения или критические соображения, я считаю книгу Б.Н.Миронова очень значимой и полезной для нашей исторической науки. Во-первых, он исправил упрощенное толкование российских революций как результата всеобщего оскудения дореволюционной действительности, особенно неуклонного понижения материальных условий жизни широких масс. И эту коррекцию надо признать достаточно смелой, ибо инерция такого упрощенного взгляда на пореформенную российскую действительность, действительно, существовала и существует до сих пор⁴.

Во-вторых, тот факт, что Б.Н.Миронов в оценке российской модернизации перегнул палку в другую сторону, преуменьшив трудности и противоречия эволюции России в рассматриваемый период, на мой взгляд, не ставит под сомнение нужность проделанной им гигантской исследовательской работы. Крайности ведь в истории науки бывают разные. Одни заставляют лишь пожалеть плечами, поскольку ведут в концептуальный тупик. Другие же выполняют полезную роль, стимулируя мысль на поиск ответов на поставленные вопросы, ориентируя ее в новых направлениях. Крайности книги Б.Н.Миронова, как мне представляется, принадлежат ко второму случаю.

Эта книга заставляет — по крайней мере, меня — задуматься о вещах, которые ранее оставались за скобками познания, побуждает глубже понять причины, механизмы и направленность российских революций и революций вообще. Возможно, такое побуждение возникнет и у других, в том числе и у самого автора.

Витте С.Ю. 1960. *Воспоминания*. М.: Соцэкгиз.

Миронов Б.Н. 1999. *Социальная история России периода империи (XVIII-нач. XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства*. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин.

Миронов Б.Н. 2002. *Отечественная история*, № 2. М.

О причинах русской революции. 2010. Под. ред. Л.Е.Григина, А.В.Коротаева, С.Ю.Малкова. М.: Изд-во ЛКИ.

Пришвин М.М. 1991. *Дневники 1914-1917*. М.: Московский рабочий.

Хорос В.Г. 1996. *Русская история в сравнительном освещении*. М.: ”Центр гуманитарного образования”.

Хорос В.Г. 2000. Оглянись, понимая. *Новое литературное обозрение*, № 45. М.

Huntington S.P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. Princeton: Yale University Press.

Khoros V. 1984. *Populism: Its Past, Present and Future*. М.: Progress Publishers.

Von Laue T.H. 1963. *Sergei Witte and the Industrialization of Russia*. N.Y., L.: Columbia University Press.

Walicki A. 1969. *The Controversy over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists*. Oxford: Clarendon Press.

⁴ Сейчас эта инерция во многом трансформировалась в высокомерно-осуждающий взгляд наших либералов и квазизападников на Россию как на “ущербную” страну и цивилизацию, которая должна или “переродиться” в Европу, или упереться в исторический тупик.